

ДМИТРИЙ
ГУСАРОВ

Партизанская

МУЗЫКА



PetrCGB 88278326

V

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.

6574-5/10
607-090404

Зачинаю Библию №7
на добрую память
от автора

16/III-95. Пусман

P
Г96

47215

ДМИТРИЙ
ГУСАРОВ

1983

Партизанская
МУЗЫКА

47215-10

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1988

6
02

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВРЕМЕННИК»
1, МОСКВА, БУЛЬВАР
ПРОСПЕКТ

Гусаров Д. Я.

Г 96 Партизанская музыка: Повести и рассказы.—
М.: Современник, 1988.—334 с.—(Новинки «Сов-
ременника»).

Новую книгу известного писателя из Петрозаводска, лауреата Государственной премии Карельской АССР Дмитрия Гусарова составили две повести и рассказы.

О юноше, вступившем в партизанский отряд, о романтике подвига и трудностях войны рассказывает заглавная повесть.

«История неоконченного поиска» — драматическая повесть в документах и раздумьях. В основе ее — поиск партизанского отряда «Мститель», без вести пропавшего в августе 1942 года в карельских лесах.

Рассказы сборника также посвящены событиям военных лет.

Д. Гусаров автор романов «Боевой призыв», «Цена человеку», «За чертой милосердия», повестей «Вызов», «Вся полнота ответственности», «Трагедия на Витимском тракте», рассказов.

Г $\frac{4702010200 - 297}{М 106(ПЗ) - 88}$ 48 — 88

ББК 84Р7

ISBN 5—270—00041—5

ПАРТИЗАНСКАЯ МУЗЫКА

ПОВЕСТЬ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАССКАЗ О РАНЕНОМ АНГЕЛЕ

Кем ранен ты, мой светлый ангелок?
Застыл ты обессиленно и немо...
Какой же дикий вихрь тебя совлек
С высокого и солнечного неба?

М. Борисова

I

— Олег, ходим сегодня в «Атенеум»?

В его ответном взгляде я вижу удивление, вопрос и сразу согласный кивок: да, конечно, ходим...

Я знаю Олега давно, с тех далеких теперь пор, когда он студентом Пудожского педучилища присылал в редакцию журнала первые стихи. Сейчас ему тридцать семь. На моих глазах он вырос, закончил институт, работал в школе, защитил кандидатскую диссертацию, стал известным в Карелии поэтом, изучил финский и шведский языки. Из многих его достоинств я искренне завидую последнему, ибо сам к иностранным языкам совершенно неспособен. В студенческую пору я четыре года изучал английский, со словарем осилил несколько художественных книг, но никакая сила, наверное, не заставит меня произнести перед иностранцем английскую фразу. Это особенно отчетливо я понял на днях, когда известная финская художница предложила мне для разговора три европейских языка, а я, сгорая от смущения, беспомощно искал глазами куда-то запропавшего Олега. Хорошо, что поблизости оказалась ее дочь — студентка, изучающая в университете русский, и наша беседа все же состоялась.

Олег — мой спаситель. Он впервые за границей, ему нужна практика, и он готов переводить день и ночь. В Финляндии много знающих шведский, и Олег, когда есть к тому возможность, с удовольствием переходит с финского языка на шведский. В такие минуты я не просто завидую, я горжусь им, и он это, наверное, чувствует.

Вот уже вторую неделю мы втроем — Ульяс Викстрем, Олег и я — находимся в Финляндии.

Сегодня — воскресенье, мы впервые свободны весь день, лишь вечером приглашены домой к поэту и журналисту Юха Виркунену, где соберутся его друзья — молодые литераторы. Ульяса Викстрема с нами не будет — вчера за ним приехали два его племянника и на шикарном дизельном мерседесе увезли его в Гурку, — в город, где он родился и откуда его, восьмилетнего, кровавой весной 1918 года эвакуировали в Петроград...

«Атенеум» — не издательство, не кинотеатр, не ресторан. Это — национальный музей изобразительного искусства. Его посещение почему-то не предусмотрено программой, предложенной хозяевами и утвержденной главой нашей делегации Ульясом. На мой вопрос он пообещал:

— Сходим, если останется время.

Сегодня времени хоть отбавляй.

После завтрака мы с Олегом идем по тем же улицам, по которым не один раз ходили в эти дни, и оттого, что не надо куда-то поспевать, спешить, волноваться, город воспринимается словно бы заново. Ботанический сад, куда нас просили не заходить в позднюю пору, так как там иногда пошаливают грабители, в лучах утреннего солнца выглядит райскими кущами — с пылающими, как костры, клумбами цветов, с диковинными для севера деревьями, с ровными, уводящими в заманчивую даль багровыми дорожками. Десятки катеров и моторных лодок, вчера безжизненно лепившихся друг к другу под высоким мостом через горловину фиорда, теперь, как разноцветные жуки-плавунцы, снуют во все стороны; и ровный нескончаемый гул их двигателей не мешает другим звукам, он не заглушает даже тяжелого металлического гроыхания трамвая, преодолевающего мостовой горб и потом стремительно убегающего куда-то вправо.

На улицах — мир, покой и воскресное безлюдье... Это радует. Рождается ощущение полноты, доступности и сопричастности жизни чужого города, не надо напрягаться при звуках незнакомой речи, сейчас все ясно без слов — смотри, наблюдай и сам догадывайся, и я уже не чувствую себя букашкой в чужом муравейнике, мне хочется продлить это состояние, мы даже не садимся в трамвай, чтоб доехать до вокзала, откуда ручкой подать до «Атенеума».

Вначале думалось, что город еще не проснулся, а

оказалось, что он уже по-воскресному опустел. Чем ближе к центру, тем меньше машин и прохожих, все давно откочевало на природу, и так будет до вечера, пока обратный поток не хлынет в город и не растечется по улицам. Магазины закрыты, и я уже с беспокойством думаю: работает ли сегодня и «Атенеум»?

У Олега, вероятно, сложилось впечатление, что я знаток изобразительного искусства. Застенчивый и скромный в общении с людьми, Олег сегодня поглядывает на меня с особым вниманием и почтительностью.

А я и не знаток, и не такой уж любитель. В музей меня тянет не столько стремление познакомиться с живописью Финляндии, которую я непростительно мало знаю, сколько желание увидеть наконец своими глазами картину Хуго Симберга «Раненый ангел».

Я знаю ее по репродукции, много думал о ней и сейчас мысленно представляю себя стоящим перед большим, в старинной раме, полотном. Блекло-голубоватый фон едва различимого дальнего берега, сизая полоса широкого залива, еще ближе — низкая пожня, пожухлая трава, полуголый ивовый куст, несколько белых цветков у обочины, и на переднем плане, крупно — два подростка несут по дороге сидящего на носилках раненого белого ангела.

То ли весенняя белая ночь, то ли предсумеречная пора унылой осени. Все странно, неожиданно, таинственно.словно ты сидишь перед окном, грустно смотришь в безжизненные дали, и эта внезапная процессия вошла в поле твоего зрения; склонившийся белый ангел как огромный застывший знак вопроса; еще шаг, другой, третий, и они пройдут мимо, а ты так никогда уже и не узнаешь, откуда и куда бредут они, кто эти двое, такие не похожие один на другого мальчики, где и кем ранен светлый, страдающий ангел.

Это ощущение загадочной неожиданности и сиюминутности видения захватывает, заставляет лихорадочно спешить; в деталях и очертаниях начинаешь искать признаки, по которым можно строить предположения или догадки, уже готова оформиться версия того, что было и что будет с этой таинственной троицей, ты поспешно ищешь подтверждения, вглядываешься в лица и вдруг начинаешь понимать, что смысл картины не в фабуле, не в том, что происходило и произойдет за пределами рамы, а в них, этих реалистично и вырази-

тельно написанных фигурах, которые символизируют и угрюмую непреклонность у первого мальчика, и доверчивую покорность у второго, и обреченную тоску по горнему миру ангела, куда уже не могут вознести его обессилевшие крылья.

Так, или примерно так, воспринимал я картину Симберга, когда подолгу вглядывался в цветную открытку с репродукцией. Но все время чего-то не хватало, все время казалось, что репродукция, конечно же, не сохранила чего-то весьма существенного для понимания, что оригинал обязательно откроет какие-то детали, которые ответят на все вопросы. И главный из них — «кем ранен ты, мой светлый ангелок?».

II

Минут пятнадцать мы подождали открытия музея и оказались первыми и пока единственными его посетителями.

Мы купили билеты, Олег ненадолго отошел куда-то, я, поджидая его, медленно поднялся по широкой лестнице на второй этаж, миновал распахнутые двери первого зала, и реальный мир, с его звуками, солнцем и обыденностью, как бы незримо и наглухо захлопнулся позади.

Это было хотя и знакомое, но для меня холодное и тревожное ощущение. Абсолютная тишина, вокруг ни души, а множество глаз — умных, печальных, насмешливых — со всех сторон безотрывно следят за тобой с портретов, и кажется, нет в зале места, где бы не скрещивались эти настороженные взгляды.

Я беспокойно поворачивался из стороны в сторону, издали, почти ничего не запоминая, всматривался в лица, сдерживал дыхание и старался ступать совсем тихо, но шорох шагов и дыхание, наверное, все же тревожили их, ибо были единственными звуками в этом многолюдном, немом и неправдоподобном мире...

Я уже понимал, что происходит со мной, но ничего не мог с этим поделать. Вот уже тридцать лет каждое необычное переживание обязательно возвращает меня к годам войны. Достаточно малейшего толчка, и сознание произвольно ищет схожести и подобия в прошлом, память тут же оживляет их — и я живу уже как бы в двух временных пластах. Такова уж, видно, осо-

бенность моего поколения — взрослыми мы стали на войне.

И теперешняя безотчетная скованность была оттуда — из памятной мартовской ночи, когда погиб Леша Кочерыгин. Долгий, изнурительный бег, подхлестываемый вражескими очередями, вдруг оборвался мертвой и неожиданной, как ловушка, тишиной. На глазах у оставшихся позади товарищей я замедляю и скрадываю шаги, за снежной, с мирным стожком, лесной поляной меня ждет смерть; я знаю это, и все другие знают; и иду я потому, что нельзя не идти, надо выяснить, кто же замечен там, на другой стороне; и каждый из оставшихся сзади, наверное, был рад, что идти пришлось не ему, как был бы рад и я, если бы послали другого, но выбор командира пал на меня — не потому, что я ловчее других, а просто в тот тяжкий момент я оказался под рукой; он приказал, и я пошел — сначала решительно, потом все медленней; это была даже не разведка, а сознательно подставляемая мишень, чтоб вызвать огонь противника, я понимал это и шел, безотчетно замедляя шаги, чувствуя на себе и сзади и спереди напряженные взгляды; не моя вина, что все наши страхи, а мои в особенности, потом оказались напрасными, что на другой стороне поляны были партизаны из соседнего отряда, что потом об этом случае будут вспоминать со смехом — вот, дескать, с перепугу чуть не перестреляли друг друга! Однако для меня-то мои переживания тех минут — и страх, и долг, и готовность через секунду умереть — были настоящими...

— Нашли что-то интересное? — раздался от дверей голос Олега.

Я машинально кивнул, пригляделся и увидел, что стою прямо перед портретом молодого красивого поручика, написанным художником Густавом Финбергом еще полтора столетия назад.

Мы двинулись дальше. Вначале задерживались почти у каждой картины, потом подходили лишь к некоторым и наконец, остановившись посредине, окидывали беглым взглядом всю экспозицию...

Теперь я часто с тоской вспоминаю — боже, какое богатство прошло в тот день перед моими глазами едва замеченным! И удастся ли когда-либо вновь вернуться туда?

А тогда словно бес нетерпения владел мною. Я шел

и шел, откладывая все на «потом», рассчитывая снова вернуться и как бы забыв, что нельзя ничего откладывать, что счастливые возможности почти никогда не повторяются. «Раненого ангела» нигде не оказалось. Были другие работы Симберга, но «Ангел» куда-то исчез.

Я не поверил, посчитал, что в спешке мы пропустили его, ведь на репродукции было точно указано — «Музей «Атенеум».

Мы возвращались по знакомым залам, навстречу попадались редкие посетители, в одном месте вокруг экскурсовода тесной кучкой стояли школьники, но ощущение безлюдья, тишины и покоя не покидало нас.

Так мы вернулись к началу экспозиции, впереди уже виднелась широкая лестница, где внизу справа был развернут киоск с репродукциями, каталогами, альбомами...

— Олег, спроси, пожалуйста, была ли у них картина Хуго Симберга «Раненый ангел» и если была, то где она сейчас?

Олег подошел к киоскерше, долго вполголоса объяснялся с нею, наконец она поняла его, извиняюще улыбнулась поочередно нам обоим, ненадолго скрылась за ближайшей дверью и вскоре вернулась с пожилой седоволосой дамой. Показывая взглядом на меня, Олег снова принялся объяснять, дама кивала в ответ, ее приветливое лицо вдруг осветилось неподдельной радостью, она подошла ко мне и, слегка поклонившись, произнесла длинную фразу по-фински. Она была рада приветствовать гостей из Карелии и хотела бы знать, есть ли у нас время немного подождать.

— Да, да, конечно! — обрадованно воскликнул я, смущенный такой любезностью. Я уже опасался, как бы нас не приняли за специалистов по финской живописи.

III

Четверть часа, не зная, куда девать себя под любопытными, хотя и ненавязчивыми взглядами киоскерши и кассира, мы расхаживали с Олегом по вестибюлю. Посетителей по-прежнему было мало, их и десятка не прошло в музей за это время, и постепенно любезность, проявленная к нам, перестала казаться мне чем-то осо-

бенным — разве в наших всегда переполненных музеях не относятся к пожеланиям иностранцев с таким же уважением?

Я понимал, что нам собираются показать картину Симберга, но думал — нас куда-то пригласят, куда-то поведут, и крайне удивился, когда в проеме боковой лестницы, ведущей, как мне казалось, в подвальное помещение, вдруг увидел за раскрытой белой дверью знакомую троицу — два мальчика несут раненого ангела. Я был ошарашен — картина Симберга на моих глазах выростала из-под земли, и оказалась она совсем небольшой по размерам — пожилой, добродушно улыбающийся мужчина легко держал ее впереди себя на руках. За ним шла приветливая седая дама.

Картину поставили на стул, прислонили к стене, и для меня наступили мучительные мгновения. Даже Олег смотрел не на картину, а на меня, он тоже ждал моей реакции, а я, теряясь от общего внимания, бессмысленно вглядывался в полотно, почти ничего не воспринимал и думал лишь о том, как бы не показаться простофилей и что полагается изображать на лице в подобных случаях — шумную радость или мудрую сосредоточенность.

Так длилось минуту, потом вспомнились строки:

Кем ранен ты, мой светлый ангелок?
Застыл ты обессиленно и немо...—

и растерянность стала проходить.

Я вглядывался в пейзаж, в лица, в детали одежды, надеясь найти хоть что-то неизвестное, но все было, как на открытке — мальчики оставались в тех же позах, словно бы замерев на мгновение, на их лицах было знакомое выражение; озеро, голый куст и сиротливые цветки у обочины дороги ничего не добавили мне, и можно было лишь порадоваться за финскую полиграфию. Пока это была, пожалуй, единственная мысль, которую я мог бы с уверенностью высказать, если бы понадобилось.

Однако и это мое убеждение оказалось шатким. Чем дольше я вглядывался в полотно, тем сильнее тревожил меня общий колорит картины. На репродукции он не казался таким печальным. Не знаю, что тому причиной — размеры полотна или обманчиво-веселый глянец открытки, — но теперь рождалось и крепло впечат-

ление, что над миром пронеслась какая-то катастрофа, и ничего уже нет — ни радости, ни солнца, все грустно, безжизненно, и одно-единственное светлое пятно — это раненый белый ангел. И сами мальчики — это дети жестокого мира, не случайно они одеты во все темное, разве что их багровые лица слегка контрастируют с общим фоном, но и они столь загадочны, столь непонятны, что уже нельзя с определенностью сказать, спасают они бедного ангела или похищают его. А если передо мной не спасение, а похищение, и печально покинувший ангел — это последнее светлое существо, бездумно сраженное этими юными прагматиками? Не оттого ли так угрюмо сосредоточен первый подросток и так пугливо настроен второй?

Я понимал, что на этот раз толкую картину, наверное, еще более отвлеченно, чем прежде, ведь я почти ничего не знаю об авторе, кроме того, что он умер в 1917 году и в живописи тяготел к символизму, но расстаться с неожиданно явившейся мыслью мне было уже трудно.

Я хотел проверить себя, призвать на помощь научную сотрудницу, однако ее уже не было. В сторонке от меня тихо и выжидающе стояли Олег и пожилой финн, принесший картину. Я заметил, что финн часто поглядывает на меня, будто ищет случая заговорить, оказаться полезным, я сам начал посматривать в его сторону, и эти наши молчаливые переглядывания закончились его вопросом:

— Господин редактор приехал из Карелии?

«Почему редактор? Откуда он знает, что я редактор? Ах, да... Они ведь разговаривали с Олегом...»

Моих весьма скромных познаний в финском языке, наверное, хватило бы, чтоб понять смысл вопроса, ибо каждое слово в отдельности было знакомо, но по привычке я тут же уставился взглядом в Олега. Тот придвинулся ко мне поближе, и дальнейшая беседа с финном превратилась в наши попеременные обращения к переводчику.

Мой собеседник, несколько смущаясь, сообщил, что ему приходилось бывать в Карелии, он провел там два года.

— Когда? Вероятно, во время войны? — спросил я.

— Да-да. Именно тогда. Был солдатом.

— А где? В каких местах вам приходилось бывать?

Резонно полагая, что географические названия не нуждаются в переводе, Олег машинально повторил их по-фински, и мне самому пришлось соображать, что «Контопохья» и «Кархумяки» — это города Кондопога и Медвежьегорск. А «Суурилахти» — где это? Неужели это заонежское село Великая Губа? А Корписаари? Такого пункта в Карелии я не знал.

Тем временем, по-своему истолковав мое затянувшееся молчание, финн начал торопливо и долго говорить. Олег кивал, что-то переспрашивал и в мою сторону ронял короткие отрывочные фразы:

— Он просит простить... Возможно, вам неприятно... Но так было... Тут ничего не поделаешь... Прошло столько лет.

— Олег, скажи ему, что я рад встрече. Спроси, он служил в Заонежье?

— Да-да, именно в Заонежье.

— В каком точно пункте?

— Их гарнизон стоял в деревне Корписаари.

— Спроси, не ошибается ли он? В Заонежье нет такой деревни.

— Именно Корписаари. Почти два года там.

— Олег, как точно перевести на русский язык это самое Корписаари? Что такое Корпи?

— Таежный остров.

— Но ведь нет такой деревни в Заонежье. Есть Волкостров, Вороний Остров, но Таежного нет. Спроси, какие селения рядом?

— Как вы сказали — Вороний Остров?

Олег быстро что-то переспросил у финна, тот ответил, и он обрадованно пояснил:

— Это Вороний Остров! Не Таежный, а Вороний... Тут дело в одной букве. Корпи — тайга, а корппи — ворон. Тут моя вина.

Я все еще боялся поверить этому совпадению. Выхватив из кармана блокнот, быстро отчеркнул что-то похожее на очертания Заонежского полуострова, отметил крестиком, где примерно расположены Медвежьегорск и Великая Губа, и протянул блокнот финну. Тот все понял, радостно кивнул мне, достал свою авторучку и уверенно поставил голубой крестик на том самом месте, где я и ожидал.

— Корпписаари. На другом берегу залива стояли русские.

Теперь сомнений не оставалось. Конечно же, это Вороний Остров, небольшая деревушка, где стоял финский гарнизон, который мы пять раз в 1943 году пытались разгромить. Там погиб Леша Кочерыгин. В ту злосчастную мартовскую ночь были у нас и другие потери, но смерть нашего помкомвзвода вот уже тридцать лет отзывается такой непроходящей болью, словно была в том моя собственная вина. А ведь в ту последнюю вылазку я не был с ним. Накануне исполнилась моя давняя мечта — наконец-то меня перевели в разведвзвод и дали автомат. Когда мы пересекали Заонежский залив, я дважды на коротких привалах появлялся тайком в своем бывшем взводе. Леша шутил, подбадривал, мы смеялись, но теперь-то мне думается, что тогдашние его шутки были с изрядной долей грусти. На рассвете он, раненый, остался с пулеметом прикрывать отход отряда.

И сразу же распространился слух, что Леша долго бился в окружении врагов и потом подорвал себя гранатой. Я узнал об этом на озере, когда мы, изможденные и подавленные неудачей, почти весь день добирались до базы, радуясь, что густой туман не дает авиации возможности накрыть нас с воздуха бомбежками и пулеметным огнем. В тот момент я сам еще только приходил в себя после жутких минут, которые пережил на сенокосной поляне, и весть о гибели Кочерыгина воспринял не столько с болью и скорбью, сколько с наивно-мальчишеской гордостью — вот, дескать, мы какие!

Потом, через много дней, пришло раскаяние. Меня так и тянуло узнать хоть какие-то подробности: куда Кочерыгин был ранен, где именно остался, откуда известно, что он подорвал себя гранатой? Оказалось, Кочерыгин вместе с шестью бойцами своего взвода отступал в полосе соседнего отряда, потом, когда сам уже не мог двигаться, приказал дать ему пулемет, а остальным прорываться на озеро. Взрыв гранаты в том направлении, где остался Кочерыгин, слышали несколько человек, и это все, что можно было установить с достоверностью. Все остальное относилось к области легенды. И как Кочерыгин выругал не хотевшего покидать его пулеметчика — «Иди, иди, приказываю!», и его последние слова: «Ребята, живите долго и счастливо!»

Давным-давно я знаю, что это легенда, ибо сама обстановка, когда противник подхлестывает смертельными очередями, обтекает справа и слева, для подобного прощания не оставляет и минуты, но все же я никогда не скажу, что это неправда. Более того, когда приходится выступать перед школьниками, вспоминать войну, я слово в слово повторяю эту историю, ибо реальная правда о гибели Кочерыгина, наверное, мало чем отличалась бы от нее, но нам она недоступна, а эта трогательная легенда является единственной по-смертной наградой моему бывшему помкомвзвода...

IV

И вот такой случай...

— Скажите, вы были в Вороньем Острове в марте сорок третьего? Вы помните ту зиму?

— О, еще бы! Это была неприятная зима. Ее трудно забыть.

— Почему?

— Всю зиму мы не знали покоя. Даже спали не раздеваясь. Начиная с января, когда партизаны разгромили гарнизон в Линдоме. Каждую ночь ждали нападения. Это было хуже, чем на фронте. Там хотя бы знаешь, где противник.

— Скажите, а на ваш гарнизон были нападения?

— Да, конечно. И не один раз. Мы даже спали не ночью, а днем. Ночами дежурили у огневых точек.

— Жаль, что мы тогда не знали этого!

Эта фраза вырвалась у меня невольно. Если бы при этом я улыбнулся, то она легко бы сошла за милую шутку. Но улыбаться мне, честно говоря, не хотелось. Я весь был в том времени и с горечью думал, что мы действительно знали о противнике непростительно мало и за незнание расплачивались жизнями.

Мне было о чем сожалеть. Этот бывший солдат сидел в своем гарнизоне за колючей проволокой, смотрел сквозь бойницу дзота на темный карельский лес, думал о доме и был, конечно же, счастлив, когда наша атака на гарнизон провалилась, так и не начавшись. Они первыми открыли огонь. Он бил из пулемета, или автомата, или винтовки по колеблющимся в свете ракет белым фигурам на опушке леса и сам не знал, сколько пуль наши желанную для него в тот момент цель.

Мой собеседник, смущенно улыбаясь, переводил взгляд с Олега на меня. Он не понимал, чем вызвана заминка в разговоре, и учтиво ждал.

— Олег, спроси, помнит ли он бой в последние дни марта? Был ли он тогда в Вороньем Острове?

— А как же? Конечно, был. Хорошо помнит. Это был очень успешный бой... Прошу простить — для финнов успешный.

— Где находились вы в тот момент, когда взлетела первая осветительная ракета? Еще до начала стрельбы... Где именно?

— Их казарма размещалась в самом центре, рядом со штабом. После полуночи он готовился к выходу на патрулирование по озеру, когда по телефону из дзотов сообщили, что большой отряд партизан вышел на берег и надо ждать нападения.

— Значит, вы знали заранее?

— Да, мы сразу же заняли оборону.

— Кто сообщил это?

— Он не знает. Такому большому отряду трудно войти на берег незамеченным.

— Скажите, кто-либо из партизан попал к вам в плен в ту ночь?

— Нет, пленных не было. Вернее, был один раненый, но он сам погубил себя.

— Как, каким образом?

— Его взяли на берегу. Он был живой, но без сознания. Погрузили на санитарные нарты, потянули к дороге. Хорошо не обыскали, взяли лишь пистолет. Он очнулся и подорвал себя гранатой. Двое солдат, тянувших его, получили ранения... Как видно, он не был похож на этого смиренного ангела!

Финн кивнул на картину и с улыбкой ждал, как я прореагирую, когда Олег переведет мне его шутку. Мне было не до шуток, но я вежливо улыбнулся.

— Какой он из себя? Командир или рядовой?

— К сожалению, этого он не знает. Сам он не видел партизана. Ему рассказывали.

— Где его подобрали?

— Этого он тоже не знает. Где-то на берегу.

— Он отстреливался, когда ваши подходили к нему?

— Навряд ли, коль был в беспамятстве.

— А пулемета рядом с ним не было?

— Это, простите, трудно вспомнить. Столько лет прошло.

— Но пистолет, вы сказали, у него был?

— Да, пистолет был. Он достался начальнику гарнизона, и тот долго носил его на поясе.

Для меня и это значило многое. Ясно, что в руках финнов оказался не рядовой партизан — рядовым пистолета не полагалось. Даже лично добытое в бою оружие засчитывалось в общие трофеи и подлежало сдаче... Хотя нет, не совсем так! Пулеметчикам и медперсоналу разрешалось иметь личное оружие для самообороны. Но им, как правило, выдавались нагааны...

— Ваши офицеры тоже любили щеголять трофейным оружием?

— О, еще как! Это считалось признаком доблести!

— А тот пистолет? Какого он был образца?

Этот вопрос не имел никакого смысла. Финну долго не мог понять, чего я хочу, потом улыбнулся и сожалеюще развел руками. Я и сам точно не помнил, какой пистолет был у Кочерыгина. К тому времени кроме «ТТ» и редких трофейных пистолетов у нас появилось немало американских кольтов. А главное — если бы я и знал, и если бы в свою очередь мой собеседник помнил систему пистолета, и если бы его сведения не совпали с моими, то все равно ничто уже не поколебало бы во мне уверенности, что там был именно он — Леша Кочерыгин. Хватит мне жить с легендой, в которую я и верил и не верил все эти тридцать лет! Мне хотелось верить, но до конца поверить я так и не смог, ибо родилась легенда как-то прямо на глазах и была уж очень похожа на многие, постоянно возникавшие в партизанской жизни. Ведь за месяц до Кочерыгина почти в сходной ситуации погиб Андрей Полевик, он остался раненным прикрывать отход своей группы, потом взорвал себя гранатой. В последнюю минуту никого рядом с ним не было, но о его гибели в отрядах рассказывалось так, словно кто-то это видел.

Не эта ли схожесть и рождала сомнения?

И теперь подумалось, что схожесть эта не случайна, что Кочерыгин, может быть, и поступил так потому, что слышал легенду о Полевике и, оказавшись в подобной ситуации, не мыслил для себя иного выхода... Полевик ведь тоже был не первым. В бригадном походе летом 1942 года таких случаев было немало. Раненые

47215-10

партизаны добровольно оставались в прикрытии и как бы уходили в безвестие. Об их судьбах можно было лишь строить предположения. Так рождались легенды.

Теперь одна из них — самая дорогая и близкая для меня — неожиданно стала былью!

v

— Господин редактор тоже был на войне?

— Да.

— И он, как я понял, был партизаном?

— Да.

— И он тоже участвовал в том бою?

Я кивнул.

— Это невероятно! Никто не поверит!

— Да, недаром говорят, что мир тесен.

Мы стояли, улыбались, вглядывались друг в друга, словно два однополчанина, не видевшиеся с далеких военных лет.

Меж нами, уцелевшими на войне и не один раз снова пережившими ее в воспоминаниях, многое повидавшими в жизни и многое осознавшими, навряд ли оставалось место даже для неприязни. По крайней мере, я так считал в ту минуту.

Но жива была другая память — память о погибших. Они-то ведь остались такими, какими были тридцать лет назад — молодыми, самоотверженными, с искренней верой в правоту вражды и смерти. Эту память не переступить...

— Вы не поверите, я был на войне три года, имею ранение от партизанской пули...

— Представьте себе, я тоже был ранен.

— И сегодня впервые так близко вижу живого партизана.

— Да, тогда мы предпочитали видеть один другого не ближе, чем на расстоянии выстрела.

— Мы ведь могли тогда убить друг друга?!

— Полагаю, даже очень просто...

— Вы знаете, ведь мы называли партизан белыми ангелами...

— Белыми ангелами? Почему?

— Конечно, в насмешку. Солдаты любили меткую шутку. Вы ведь приходили в белых халатах и всегда около полуночи.

— Любопытно. Впервые слышу... Мне кажется, тогда вы охотнее называли нас... по-другому.

Я не решился произнести слово «бандит», ибо в нашем дружелюбном разговоре это прозвучало бы запоздалым и совсем неуместным упреком моему собеседнику, хотя при этом мне обидно вспомнилось, что некоторые финские военные историки в своих трудах до сих пор стремятся представлять партизан в подобном роде и даже не стесняются употреблять это слово.

Он и сам все понимал:

— Конечно, конечно... На войне было всякое... Война — это ужасно... Но согласитесь: белые ангелы — это неплохо придумано!

— Как же вы решились на такой грех — стрелять в ангелов? — спросил я не без иронии.

— Что было делать? — Он охотно и располагаясь улыбнулся. — Ангелы-то приходили за нашими душами.

— Но ангелы лишь стремились освободить свои гнезда...

— Да, конечно... Их можно понять.

Мы продолжали стоять, смотреть друг на друга, улыбаться, но оба, наверное, чувствовали, что главное в этой негаданной встрече у нас позади, — надо было или углубляться в рассуждения о войне, которые могут если не разъединить, то охладить нас, или расставаться. Вести шуточный разговор, на который мы вдруг перешли, после всего сегодня мной пережитого не хотелось.

Я огляделся. Мальчики на картине Симберга были свидетелями нашей беседы, во всяком случае — второй, он и задержал процессию, чтобы послушать разговор до конца, он явно добрый и простодушный паренек, и опять мне подумалось, что моя версия картины, конечно же, неверна, я зря подозревал этих маленьких тружеников — они обычные, живые и реальные, хотя и очень разные мальчики, и они, конечно же, спасают раненого ангела, а не похищают его.

— Скажите, — обратился я к финну, — что, по-вашему, изображено на этом полотне?

— Прошу прощения, но я ничего не смыслю в этом. Я могу пригласить сведущего человека.

— Нет-нет... Мне хочется знать, как вы понимаете эту картину?

— Что сказать... Парни куда-то тащат раненого ангела.

— Куда, как вы думаете?

— Дайте сообразить... Может быть, в лазарет? Если и ангелов лечат в лазаретах? — И финн кинул на меня лукавый взгляд.

— Спасибо. Вы хорошо ответили. Я согласен с вами. Благодарю вас! Это была очень важная для меня встреча!

— Господам больше не нужна картина?

Мы обменялись рукопожатием, он бережно поднял картину, потом обернулся, увидел, что мы с Олегом стоим на месте и смотрим на него, приблизился к нам и с улыбкой сказал:

— Все-таки как хорошо, что мы тогда не убили друг друга! Не правда ли?

Мы возвращались в гостиницу взволнованные каждый по-своему. Олег был счастлив, он, не скрывая своего воодушевления, улыбался, встряхивая головой, восклицал:

— Нет, это здорово! Народ чертовски талантлив! Стихийно! Каждый! По-особому! У финнов — это врожденная ироничность, чувство юмора, так сказать! А последняя фраза? Кто он — философ, дипломат, публицист? Да нет же! Рядовой человек, бывший солдат! Какая встреча! Какая встреча!

Я молчал. Я понимал его воодушевление и сам был возбужден до крайности. Мне не хотелось ни подогреть, ни охладить его восторгов. Все-таки мы были людьми разных поколений, и естественно, что случившееся восприняли по-разному.

Для него «белые ангелы» — это удачная и безобидная поэтическая метафора, которой не откажешь ни в меткой наблюдательности, ни в добродушной ироничности. Но моя душа не принимала ее. Чем больше я вдумывался, тем острее задевало меня именно это снисходительное добродушие. Ведь тогда знавали мы от противника и другие прозвища...

Нет, не были мы ни ангелами, ни бандитами. Даже тогда, когда эти крайние мерки не казались бы крайними.

Как жаль, что теперь уже почти невозможно представить нас такими, какими мы были тогда!

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Недавно назначенный комиссар Малюк — единственный в отряде — носил армейскую форму: комсоставскую шинель, хромовые сапоги, гимнастерку с портупейей, со звездочками на рукавах и с тремя кубарями на петлицах.

Мы, новички, не знали — был ли он кадровым военным, но строгая форма резко выделяла его среди партизанской разномастицы. Был он совсем небольшого роста, настолько небольшого, что в первые дни я наивно полагал, что Малюк — это вовсе не фамилия комиссара, а его прозвище. Имел же Аристов кличку «Тотач»! Что за «Тотач», почему «Тотач» — никто и не смог бы объяснить. А тут все великолепно подходит, и почему бы маленькому комиссару не быть «Малюком».

Ноябрь и декабрь мы ждали, пока станет Онежское озеро, а оно, несмотря на холода, замерзало в том году трудно — дули частые сильные ветры. Черная полоса открытой воды то уходила к горизонту, то опять возвращалась чуть ли не к берегу.

Несколько раз отряд поднимали ночью по тревоге, давали час на подготовку к походу, и все считали, что передышка кончилась и пришла пора идти в дело. Но тревоги и сборы оказывались учебными, и мы узнавали это не сразу, а позже, когда порядком изматывались в форсированном лыжном марше по лесу и с рассветом убеждались, что и на этот раз никто через озеро вести отряд не собирается.

В ту пору и началась эта история.

В поселке Шальского лесозавода был немудрящий клуб, где по субботам устраивались танцы. Партизаны, кому довелось стоять здесь в прошлую зиму, не жалели ни подарочного легкого табаку, ни пайкового сахара — только бы освободиться от служебных нарядов на субботу. Подмену искали среди новичков, и найти ее было совсем нетрудно, ибо отряд на три четверти состоял из недавних курсантов Сегежской партизан-

СОДЕРЖАНИЕ

Партизанская музыка. <i>Повесть</i>	3
Банка консервов. <i>Рассказ</i>	177
Путь в отряд. <i>Рассказ</i>	189
История неоконченного поиска. <i>Повесть в документах</i>	197

Дмитрий Яковлевич Гусаров

ПАРТИЗАНСКАЯ МУЗЫКА

Повести и рассказы

Редактор В. Геллерштейн

Художник М. Лисогорский

Художественный редактор О. Червцова

Технический редактор В. Котова

Корректоры Г. Панова, М. Курносенкова

ИБ № 4853

Сдано в набор 9.02.88. Подписано к печати 6.10.88. А 10118. Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая с ФПФ. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 17,64. Усл. краск.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,65. Тираж 100 000 экз. Заказ 835. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30





